

A young girl with long dark hair, wearing a long, flowing orange and brown patterned dress, stands in a vast desert landscape under a warm, golden sky. She is holding a large, ornate copper vessel with both hands. The vessel has a wide, flared rim and a decorated body. The background shows rolling sand dunes and a few small dark spots on the ground.

*Три желания Амаль.
Медный кувшин в
пыли*

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

**Три желания Амаль.
Медный кувшин в пыли**

«Автор»

2026

Патрушев С.

Три желания Амаль. Медный кувшин в пыли / С. Патрушев —
«Автор», 2026

Юная Амаль, выросшая в бескрайних песках Руб-эль-Хали, мечтает вырваться из монотонного плена пустыни и увидеть мир, о котором читала в старой книге. Однажды на закате, в минуту горького отчаяния, она обращает к безмолвным барханам беззвучный крик — требование свободы. И пустыня отвечает: из глубины песка перед ней появляется старинный медный кувшин, запечатанный древней печатью. Внутри томится могущественный джинн — марид, заточённый тысячи лет назад. Он готов исполнить три её желания. Но джинн — не добрый волшебник из сказок, а древнее, коварное существо, для которого каждое исполненное желание — это изощрённая игра с судьбой просителя. Ослеплённая жаждой славы и любви, Амаль, шаг за шагом ступает на путь, где буквальное исполнение её слов оборачивается катастрофой. Ей предстоит пройти через ложный блеск мировой сенсации, через одержимость, маскирующуюся под любовь, через соблазн вечности в идеальном мире иллюзий.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Медный кувшин в пыли	5
Глава 2. Имя, вытканное из дыма (Знакомство с джином, договор)	14
Глава 3. «Хочу, чтобы меня запомнили» (Формулировка первого желания)	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Три желания Амаль. Медный кувшин в пыли

Глава 1. Медный кувшин в пыли

Августовское солнце висело над горизонтом, тяжелое и багровое, точно перезрелый плод, истекающий соком заката. Оно красило в медь и червонное золото бескрайние пески Руб-эль-Хали, и в этом обманчивом, предсмертном сиянии пустыня казалась не царством беспощадного зноя, а застывшим океаном расплавленного металла. Барханы, простиравшиеся до самого края видимого мира, вздымались, словно гигантские волны, которым некая чудовищная сила приказала замереть в самый разгар шторма. Ветра почти не было, лишь изредка легкое, едва уловимое дуновение, горячее, как дыхание умирающего, подхватывало горсть песчинок с вершин барханов, и те, танцуя, с тихим, вкрадчивым шипением скатывались вниз, словно сама земля беззвучно пересыпала время сквозь невидимые, бестелесные пальцы. Где-то далеко, на самом краю слышимости, одинокий шакал затянул свою вечернюю песню — тоскливую, надтреснутую, полную древней печали мелодию, которая скорее подчеркивала безмолвие, чем нарушала его, оттеняла его, делала почти осязаемым. Его голос висел в воздухе несколько мгновений, а затем медленно истаял, впитавшись в пески, не оставив после себя ничего, кроме ощущения вселенского одиночества.

Амаль сидела на гребне самого высокого бархана, того, что она про себя называла Троном, обхватив колени руками, и смотрела, как тени, до этого короткие и незаметные, начинают стремительно удлиняться, превращая каждую складку рельефа, каждую ложбинку и каждую песчаную рябь в глубокую морщину на лице вечности. Она выбрала это место не случайно, и не случайно приходила сюда каждый вечер, вот уже несколько лет. Отсюда, с этой высоты, открывался вид на все их крошечное, затерянное в бескрайнем море песка царство: несколько приземистых, словно вросших в землю глинобитных хижин, прилепившихся к подножию древнего, выветренного скального массива; чахлую, но упрямую финиковую рощу — гордость, прокормилицу и единственное зеленое пятно их маленькой общины на многие дни пути вокруг; колодец с солоноватой водой, вокруг которого по утрам собирались женщины с кувшинами; и бесконечное, уходящее во все стороны, на восток и на запад, на север и на юг, море песка всех оттенков охры. Это была вся ее вселенная, замкнутая, герметичная, неизменная, и она знала ее до последней песчинки. Она знала, в какое время дня тень от Большого Камня падает на вход в хижину старой Фарида, знала, на каком именно бархане после редкого дождя расцветают крошечные лиловые цветы, живущие всего один день, знала, где в скалах прячутся от дневного зноя ящерицы, и в каком месте опасно копать колодец, ибо там, как говорили старики, земля дышит ядовитыми парами.

На ней было простое, выцветшее от солнца платье из дешевого хлопка, когда-то голубое, как весеннее небо над далекими северными землями, а теперь почти белое, с бесчисленными, аккуратными заплатками на локтях, подоле и плечах. Голову покрывал легкий, но плотный платок, пропахший пылью, сухими травами, дымом очага и тем особенным, ни с чем не сравнимым запахом старости и мудрости, который она впитала от своей бабушки, — запах, который она с детства ассоциировала с домом, защитой, усталостью и тихой, неизбывной печалью. На ногах — стоптанные сандалии из грубой верблюжьей кожи, пережившие не одну песчаную бурю, с ремешками, перетертыми до последней степени хрупкости, готовыми порваться

в любой момент. На запястье поблескивал единственный браслет — простая медная цепочка, доставшаяся ей от матери, которую она почти не помнила. Вся ее жизнь, вся ее короткая, но такая монотонная жизнь, была соткана из этого песка. Он был везде. Он был в ее волосах, под ногтями, в складках одежды, в порах кожи. Он был фундаментом ее существования, неотъемлемой частью ее самой. Она знала его вкус — солоноватый, минеральный, чуть горьковатый, остающийся на языке после каждой бури, после каждого глотка воды. Она знала его запах после редкого зимнего дождя, тяжелый, влажный, плотный, пахнущий мокрой глиной, пробуждающейся жизнью и обещанием чуда. Она знала его отвратительный, сводящий с ума скрип на зубах, когда горячий, неистовый ветер хамсин бил в лицо, неся миллиарды микроскопических, острых, как стекло, осколков, секущих кожу и забивающих дыхание. Она знала его неумолимое, просачивающееся сквозь все преграды тепло, проникающее сквозь тонкие, истертые подошвы сандалий даже сейчас, на закате, когда камни начинали отдавать накопленный за долгий, беспощадный день жар. Пустыня была ее домом, ее тюрьмой, ее кормилицей, ее единственным молчаливым собеседником и ее самым страшным врагом. Она выросла здесь, среди этих барханов, под этим безжалостно-синим, выцветшим от зноя небом, и до недавнего времени другой жизни себе и не представляла. Она просто жила, день за днем, как жили ее предки на протяжении сотен лет, не задавая лишних вопросов. Но это было до того, как в ее руки попала Книга.

Все изменила Книга. Ей было двенадцать, когда их общину, словно мираж, посетил редкий, сбившийся с пути караван, следовавший из Омана в Хадрамаут. Караванщики, измученные и обезвоженные, с потрескавшимися губами и воспаленными от песка глазами, прожили у них неделю, восстанавливая силы, отсыпаясь в тени скал и давая отдых своим горбатым, невозмутимым верблюдам. Они были чужаками из другого мира, они говорили на немного другом диалекте, их одежда была ярче, а глаза видели то, что Амаль и не снилось. В благодарность за гостеприимство, за воду, так щедро разделенную с ними, за лепешки и финики, один из караванщиков, седой, словно лунь, старик с парадоксально молодыми, блестящими, полными искр и смешинок глазами, подарил ей книгу. Он выбрал ее среди всех детей, подозвал к себе и, лукаво улыбнувшись в седую, прокуренную бороду, сказал: «В этой книге, дитя мое, спрятаны миры, которые ты, скорее всего, никогда не увидишь своими глазами. Горы, уходящие вершинами в небеса, океаны, бескрайние, как твоя пустыня, но состоящие из воды, города, сияющие миллионами огней. Но если ты научишься читать между строк, если вступишь эти образы в свое сердце, они станут твоими навсегда. Запомни это». Он погладил ее по голове сухой, теплой ладонью, и этот жест запечатлелся в ее памяти так же ярко, как и сам момент. Это был ветхий, готовый рассыпаться в прах от неосторожного прикосновения томик в потрепанном, когда-то дорогом, но теперь изъеденном временем и жучком кожаном переплете. Название на обложке давно стерлось, и о нем можно было только догадываться по остаткам тиснения, напоминавшим карту звездного неба. Страницы пожелтели, истончились до прозрачности, до состояния крыльев ночного мотылька, были хрупкими и ломкими, некоторые были порваны, другие покрыты непонятными бурными пятнами, оставленными, возможно, пролитым кофе или кровью, третьи хранили на себе карандашные пометки на неизвестном языке. Амаль потратила три долгих, мучительных и счастливых года на то, чтобы прочесть его от корки до корки, потому что книга была на чужом языке, языке далеких северных колонизаторов. Она осваивала его самостоятельно, слово за словом, буква за буквой, по наитию, с помощью интуиции и своей бабушки Фарида, которая знала несколько языков и наречий, но этот — лишь фрагментарно, по кусочкам, и часто они разгадывали смысл фраз вместе, склонившись над книгой при свете масляной лампы.

Это была книга о путешествиях. Но не о паломничествах к святым местам, не о торговых маршрутах. Это была книга об исследовании мира, о дерзком, безрассудном, всепоглощающем стремлении увидеть горизонт и заглянуть за него. О далеких, немыслимых, сияющих в ночи городах, где улицы залиты электрическим светом даже в самый темный час, где башни из стали и стекла пронзают облака, где живут миллионы людей, говорящих на сотне языков, незнакомых друг с другом, но объединенных бешеным ритмом мегаполиса. О садах, в которых вода не является драгоценностью, добываемой потом и кровью из глубин, а течет свободно, поя корни диковинных цветов, чьи названия звучали как музыка, как заклинание: орхидея, лотос, гардения, азалия. О морских путешествиях, о поездах, мчащихся быстрее ветра, о людях, которые едят невероятную, странную пищу, названий которой она даже не могла выговорить — устрицы, трюфели, круассаны, — и носят одежды из тканей, переливающихся всеми цветами радуги. Амаль перечитывала книгу снова и снова, каждый раз находя новые детали, новые оттенки смысла. И с каждым прочтением ее собственный мир, мир песка и молчания, становился все более тесным, все более душным. Она знала, что Леонора, героиня книги, скорее всего, вымысел. Но сам мир, описанный там, был реален. Его можно было найти на картах. В него можно было попасть. И осознание этого было ядом, медленно, капля за каплей, отравлявшим ее душу.

Именно эта книга посеяла в ее душе яд неудовлетворенности и томления по чему-то большему, по жизни, полной красок, звуков, движения. Раньше она была просто девочкой пустыни, умеющей доить козу, печь лепешки в тандыре, пряхсть шерсть, собирать сухие колючки для очага и предсказывать песчаную бурю по цвету закатного неба и поведению муравьев. Теперь же она стала узницей, осознавшей свою клетку. С каждым прочитанным словом, с каждой воображаемой картинкой, стены этой клетки становились все теснее и теснее, а мир за ее пределами — все желаннее, все притягательнее. Мысли ее текли медленно, в такт движению солнца, но внутри, под внешней оболочкой спокойствия, бурлил океан подавленных желаний, горькой обиды и несбыточных надежд. Она думала о Леоноре, которая в одиночку пересекла огромный континент, не побоялась бурь, диких зверей, чужих обычаев и видела все чудеса, описанные на этих ветхих страницах. Леонора была свободна. Она могла сесть на корабль, поезд, в повозку, оседлать лошадь. Она могла выбирать свой путь, могла менять свою судьбу ежедневно. А что могла Амаль? Она могла выбрать, на какой бархан подняться, чтобы увидеть, как далеко простирается пустота. И все. Вся ее жизнь была предопределена, расписана до самого конца: замужество, дети, работа, старость, смерть в этом же песке. От этой чудовищной, вселенской несправедливости сердце сжималось с такой силой, что становилось трудно дышать, словно на грудь навалилась каменная плита. Слезы подступали к горлу, жгучие, горькие, но она давила их усилием воли, стиснув зубы, потому что пустыня действительно не терпит слез. Слезы — это вода, а вода здесь — сама жизнь, священная субстанция, дар, который нельзя расточать попусту. Плакать здесь — значит не только проявлять слабость, позорную и недопустимую, но и расточительствовать самым священным ресурсом. Вместо слез она приучала свой разум к путешествиям. Каждый вечер, сидя на этом самом месте, на Троне, она закрывала глаза и представляла, что песок под ней — это плотные, белые облака, и она парит над миром, летя в те сияющие города, о которых читала.

Сегодня, однако, тоска была особенно мучительной, вязкой, липкой, граничащей с отчаянием. Может быть, дело было в книге, которую она перечитывала сегодня утром в третий раз, дойдя до самого любимого и самого невыносимого момента — сцены, где Леонора входит в гигантскую, величественную библиотеку, вмещающую все знания мира, все книги, когда-либо написанные человечеством. Амаль представляла запах этих книг — запах кожи, пыли, старой бумаги и времени — и ее сердце заходило от нежности и боли. А может, дело было

в разговоре, который состоялся у нее с отцом за завтраком. Отец был человеком простым, основательным, честным и суровым, как сама пустыня. Его жизнь состояла из тяжелого, изнурительного труда, молитвы и неусыпной заботы о семье и скудной скотине. Он не понимал ее томлений, они были для него чужды и опасны. «Ты витаешь в облаках, дочь, — сказал он ей утром, разламывая лепешку своими сильными, грубыми, натруженными руками. — Твоя голова забита пустыми, блажными фантазиями, которые до добра не доведут. Пойми, это все — мираж, обман. Реальна только пустыня, наша земля, наш род. Твое место здесь, с нами. Через год-другой, даст Бог, мы найдем тебе хорошего, надежного мужа из восточного племени, и ты будешь жить, как жили твоя мать и твоя бабка, как жили все женщины нашего рода. Это твоя судьба, твой путь, предначертанный свыше. Смирись, и ты обретешь покой». Слова отца упали на душу тяжелыми, массивными каменными плитами, замуровывая последние щели, последние трещинки, через которые еще пробивался слабый, призрачный свет надежды. Замужество. С каким-нибудь незнакомым, чужим пастухом или погонщиком. Дети, рожденные в боли. Хозяйство, изнуряющая рутина. Бесконечная череда одинаковых, неотличимых друг от друга дней, заканчивающаяся тихой, незаметной смертью и погребением в этом же песке, который станет ее последним пристанищем. Она не хотела такой судьбы. Всей душой, всем своим существом она отвергала ее. Она хотела своей судьбы. Уникальной, свободной, сияющей. Той, что была в книге.

И в этот самый момент глухого, всепоглощающего, черного, как беззвездная ночь, отчаяния, она вспомнила бабушку. Старая Фарида была совсем другим существом, словно сотканным из иного материала, чем все остальные жители их общины. Высохшая, легкая, как засушенная ветром птица, с лицом, исполосованным глубокими морщинами, словно потрескавшаяся от засухи земля, она казалась древним духом самой пустыни. Она была хранительницей знаний, знахаркой-травницей, принимающей роды, лечащей лихорадку и укусы скорпионов, и, главное, сказительницей. Когда Амаль была маленькой, она часто сидела у ног бабушки у очага долгими, холодными ночами, и та, перебирая четки из гагата, рассказывала ей истории. Это не были обычные сказки о прекрасных принцах, летающих коврах и волшебных лампах. Это были древние, жутковатые, пробирающие до костей предания о временах, когда люди и духи жили бок о бок в этом мире. О джиннах, сотворенных Аллахом из бездымного, чистого огня задолго до человека, слепленного из глины. Об ифритах, самых злобных и мстительных, живущих в заброшенных колодцах и в руинах разрушенных городов, погребенных под толщей песка, которые заманивают путников голосами их близких. О маридах, самых могущественных, надменных и коварных. И о великом, мудром царе Сулеймане, сыне Дауда, мир им обоим, которому Аллах даровал власть над всеми тварями и духами, и который заточал непокорных, взбунтовавшихся духов в сосуды — кувшины, лампы, бутылки, перстни — и запечатывал их своей великой, нерушимой печатью, навеки. «Говорят, — шептала бабушка, и ее старые, выцветшие от катаракты глаза таинственно блестели в пляшущем свете очага, — что эти сосуды до сих пор лежат где-то здесь, в Руб-эль-Хали, под самыми глубокими, самыми высокими барханами, погребенные временем. И горе тому, дитя мое, горькое горе тому, кто найдет такой сосуд и откроет его без должного знания, без молитвы и печати Сулеймана. Ибо джинн, заточенный на тысячелетия, лишенный свободы и света, — это не друг тебе, не слуга. Его жажда свободы так же велика и всепоглощающа, как и его ненависть, выросшая за века заточения, к роду человеческому». Раньше Амаль слушала эти истории, затаив дыхание, широко раскрыв глаза, но воспринимала их как красивую, леденящую кровь выдумку, как часть фольклора. Теперь же, в свете своего беспросветного, жгучего отчаяния, она подумала иначе. А что если — нет? Что если бабушка не выдумывала? Что если в этих легендах есть зерно истины, темное и опасное?

Подняв взгляд к небу, где уже начинали зажигаться первые, еще робкие и бледные звезды, проглядывающие сквозь угасающую лазурь, она сделала то, чего не делала никогда в жизни. Она не стала плакать, она не стала смиренно молиться, прося у Всевышнего сил и терпения, как ее учили. Она стала требовать. Она вспомнила слова бабушки: «Пустыня не терпит слез, дитя. Но пустыня умеет слушать. Если твое желание будет истинным, таким же сильным и жарким, как полуденный зной, сама земля откликнется на него. Но будь осторожна в своих желаниях, ибо кто знает, что именно откликнется». И Амаль, закрыв глаза и сжав кулаки с такой силой, что короткие ногти впились в ладони до боли, до крови, обратилась всем своим существом, всей своей яростной волей к молчанию вокруг. Это не была мольба, обращенная к небесам, наполненная смирением. Это был приказ, ультиматум, дерзкий вызов, брошенный в лицо равнодушной, слепой вечности. В ее мыслях не было оформленных слов, там была лишь концентрированная, раскаленная добела воля, бурлящая лава. «Я хочу отсюда. Я хочу увидеть мир из книг. Я хочу жизни, настоящей, полной, яркой, опасной, моей собственной жизни. Я требую, чтобы ты, пустыня, поглотившая столько душ, отдала мне ключ к свободе. Я не смирюсь. Я не стану еще одной песчинкой в твоём чреве». Ее безмолвный крик был наполнен концентрированной яростью загнанного в угол, в клетку зверя и такой безмерной, испепеляющей жаждой, которую не утолить всей водой всех океанов мира. Она вложила в него всю свою обиду, всю свою боль, все свое отторжение навязываемой судьбы. Это была молитва наизнанку, анти-смирение, вопль Прометея. Когда она открыла глаза, мир внешне не изменился. Солнце так же клонилось к закату, окрашивая небо в густые фиолетовые и пурпурные тона, пески были так же безмятежны и величественны. Но что-то неуловимо сдвинулось в самой ткани бытия. Легкий, неестественный озноб пробежал по спине, несмотря на все еще теплый, ласковый воздух, и странное, звенящее, вибрирующее эхо повисло в ушах, словно отзвук далекого гонга. Ей вдруг показалось, что пустыня услышала ее. И, что самое страшное, леденящее кровь, она затаила дыхание в ответ, замерла в ожидании. Тишина стала абсолютной, вакуумной, космической, гнетущей. Смолкли невидимые цикады, замолчал далекий, тоскующий шакал, даже вездесущий ветер, казалось, замер, упал, распластался по земле, притаился, задержал дыхание, словно испуганный зверь перед грозой. Мир ждал.

Она уже собиралась спускаться вниз, к своему скромному, надоевшему жилищу, когда ее внимание привлекло нечто аномальное, странное, выбивающееся из привычного пейзажа. У подножия дальнего бархана, того самого, который они с детства называли Горбатым за его причудливую, двуглавую, асимметричную вершину, песок в одном месте словно просел, обрушился внутрь себя. Образовалась небольшая, но идеально, геометрически круглая воронка, которой не было еще час назад. Она знала это с абсолютной, непоколебимой уверенностью. Когда она шла сюда, она прошла как раз у подножия Горбатого, и видела его склон, и никакой воронки там не было и в помине. Амаль знала каждый дюйм этих песков, каждый их изменчивый, но закономерный узор, каждую складку, каждую тень. Рельеф пустыни менялся постоянно, но медленно, день за днем, под воздействием ветра, который, словно терпеливый скульптор, веками перестраивал ландшафт. Мгновенное появление такого провала, такой правильной формы, было аномалией, чужеродной, как свежий, багровый шрам на гладкой коже. Нерешительность и страх длились лишь короткое мгновение, укол холодного ужаса. Любопытство, острое, жгучее, неудержимое, смешанное с тем жутким, сладким предчувствием, вытеснило и тоску, и страх. Это был знак. Ответ на ее зов. Она была в этом уверена. Она начала спускаться, осторожно, почти на ощупь, придерживаясь за осыпающийся, ненадежный склон, чувствуя, как песок струится под ее сандалиями, утекая вниз, словно сама земля засасывала ее, тянула к себе. Песок под ногами был непривычно, пугающе рыхлым, словно его недавно потревожили, вспучили изнутри чудовищной силой, и теперь он медленно, устало оседал, пытаясь заполнить образовавшуюся в глубине пустоту. Каждый шаг давался с трудом, сердце колоти-

лось где-то в горле, ноги проваливались по щиколотку, а мелкие струйки песка с тихим, вкрадчивым шорохом текли в центр воронки, словно вода в сливное отверстие, исчезая в ее темной глубине.

Добравшись до самого края, она остановилась, переводя дыхание и вглядываясь вниз, в темнеющее углубление. В самом центре воронки, наполовину погребенный в песке, лежал предмет. В сгущающихся, обманчивых сумерках его очертания были неясны, размыты, и Амаль сначала показалось, что это какой-то искривленный, выбеленный солнцем корень сакс-ула или обломок камня необычной формы. Но что-то в нем было неправильное, беспокоящее. Какая-то неестественная, рукотворная симметрия, слишком правильная, чтобы быть созданной природой округлость. Она присела на корточки у самого края воронки, и только теперь заметила, как сильно, судорожно колотится ее сердце. Оно билось гулко, тяжело, в ритме древнего шаманского барабана, отдаваясь пульсацией в висках, в горле, в кончиках пальцев. Она осторожно, кончиками пальцев, боясь обжечься или уколоться, смела налипший, еще хранящий дневное тепло песок. Ее пальцы коснулись прохладного, шершавого, покрытого коркой металла. Прикосновение послало мощный, неожиданный электрический разряд по всему телу, не болезненный, но странно бодрящий, от которого волосы на руках встали дыбом, а по коже побежали мурашки. Спустя минуту, когда она смела еще больше песка, лихорадочно работая обеими руками, стало ясно: перед ней был старый, очень старый, покрытый толстым, бугристым слоем зеленовато-коричневой патины кувшин.

Он был невелик, размером с голову ребенка или небольшую, спелую дыню, и имел пузатую, классическую, древнюю форму с узким, чуть расширяющимся кверху горлышком. Пatina покрывала его настолько плотно и толсто, что он казался вырезанным из камня, из цельного куска малахита или нефрита, а не выкованным из металла. Но под слоем окислов и вековой грязи угадывалась удивительной, нечеловеческой красоты работа, нечто, что могло выйти только из рук величайшего мастера. На ощупь металл казался ледяным, обжигающе-холодным, что было совершенно, абсолютно неестественно для предмета, пролежавшего целый день под палящим, беспощадным солнцем, да и, вероятно, не одну сотню, не одну тысячу лет под толщей раскаленного песка. Словно он хранил холод земных недр, холод тысячелетий, холод самого бездонного межзвездного пространства, абсолютный ноль. Амаль принялась очищать его, стирая ладонями песок и пыль, сдирая ногтями куски спекшейся корки. Она работала быстро, с лихорадочной поспешностью, почти одержимо. Песок был вездесущ, он забился в каждую щель, в каждую выемку. Постепенно, очень постепенно, под слоем грязи и окислов начал проступать удивительной, завораживающей красоты узор. Тончайшая, филигранная чеканка покрывала весь корпус кувшина, от плоского, устойчивого основания до самого горлышка, не оставляя ни миллиметра пустого пространства. Это была арабская вязь, но не та, что она видела в книгах или на старых, истертых амулетах бабушки. Буквы были невероятно древними, угловатыми, архаичными, куфическими, состоящими из прямых, рубленых линий и резких, агрессивных углов, они сплетались, перетекали друг в друга в невероятно сложный, завораживающий, почти гипнотический орнамент. В их переплетении угадывались образы звезд с множеством лучей, переплетающихся, колючих лиан с острыми шипами, стилизованные, извивающиеся, танцующие языки пламени и, кажется, смутные, едва уловимые силуэты фантастических, химерических существ, полулюдей-полужверей, грифонов и сирен. От этих знаков исходило мощное, смутное, тревожное ощущение силы, невероятной, чудовищной, дремлющей, но все еще живой, пульсирующей силы, находящейся под чудовищным давлением. Казалось, дотронься до нее неосторожно, нарушь хрупкий баланс, и она вырвется наружу, сметая, испепеляя все на своем пути.

Горлышко кувшина было запечатано. Не пробкой, не деревом, не тканью, а массивной, намертво, казалось, впаянной в самую горловину, составляющей с ней единое целое крышкой из тусклого, тяжелого, грубого металла, который она по характерному сероватому цвету, весу и тусклому блеску определила как свинец. В центре крышки, утопленная в нее, красовалась большая, выпуклая, рельефная печать, сделанная из другого, темного, почти черного, отполированного металла, который вообще не поддавался коррозии и, казалось, не отражал, а жадно поглощал падающий на него свет. На печати была выгравирована сложная, многокомпонентная гептаграмма — семиконечная звезда, заключенная в два идеальных concentрических круга, между которыми шла микроскопическая, нечитаемая, но ощутимая пальцами вязь. А в самом центре звезды, в самом ее сердце, был начертан символ, напоминающий закрытый глаз с длинными, тяжелыми, опущенными ресницами, но в самой своей сути глубоко неправильный, вызывающий чувство глубинного беспокойства и головокружения. Когда Амаль смотрела на него, ей начинало казаться, что глаз смотрит на нее в ответ сквозь закрытые, свинцовые веки. Ее руки дрожали, но не от страха перед неизвестным, а от какого-то дикого, первобытного, незнакомого ей ранее, бурлящего в крови предвкушения, которое пульсировало в висках, смешиваясь с ледяным адреналином. Она забыла и про надвигающуюся холодную ночь, и про голод, и про страх наказания за то, что не вернулась домой до темноты. Весь мир, вся вселенная, все ее прошлое и будущее сузилось до этого единственного, пульсирующего тайной предмета у нее в руках. Она вспомнила бабушкины сказки, древние, как сам мир, как эти пески. Сказки о могущественных джинах, заточенных в лампы и кувшины царем Сулейманом, о коварных ифритах и маридах, исполняющих желания, о сделках с нечистой силой. Раньше она слушала их с улыбкой, воспринимая как красивую выдумку, способ скрасить бесконечные, однообразные ночи. Но сейчас, ощущая мертвенный, неземной холод металла и всматриваясь в гипнотическую вязь семиконечной звезды — символа, который, как говорила бабушка, использовал Сулейман, — она не была так уверена. Это была не подделка, не игрушка, не древняя утварь. Это была вещь, источавшая возраст, древность. Возраст такой глубокий, такой безмерный, такой ошеломляющий, что дух захватывало, а разум отказывался его постигать и осмысливать. Эта вещь была старше пирамид, старше любой известной ей истории, старше, возможно, самого человечества. Она была осколком до-человеческой, легендарной эпохи.

В этот момент внезапный, резкий порыв холодного, вечернего ветра сильно ударил ее в спину, бросив пригоршню колючего песка в волосы и за шиворот. Он будто пытался ее остановить, отрезвить, утащить, увести прочь от этого проклятого, гиблого места. Но Амаль лишь крепче, до побелевших костяшек пальцев, прижала кувшин к груди, чувствуя, как ледяной, мертвенный холод металла просачивается сквозь тонкую, ветхую ткань платья, охлаждая кожу. Она попыталась открыть крышку, поддев ее ногтями, с отчаянием и злостью. Бесполезно. Металл сидел монолитно, неколебимо, словно сросшись с горлышком на молекулярном, атомном уровне, без малейшего зазора или щели. Тогда она схватила плоский, острый, как нож, осколок сланца, лежащий рядом, и попыталась использовать его как рычаг, вставив в микроскопическую щель между свинцом и медью. Камень соскользнул, сорвавшись, и глубоко расцарапал ей ладонь. Из раны выступила кровь, темная, почти черная в сумеречном свете. Капля упала на свинцовую крышку, прямо на закрытый глаз печати, и на мгновение ей показалось, что металл в этом месте нагрелся до температуры живого тела и впитал кровь без остатка, жадно, как вампир. Она ударила по крышке тем же камнем, уже в приступе отчаяния и гнева. Звук вышел глухой, странный, не звон меди или свинца, а скорее низкий, утробный, инфразвуковой гул, ушедший глубоко в песок и отозвавшийся долгой, вибрирующей нотой у нее в груди, в костях черепа. Печать на крышке, казалось, на мгновение вспыхнула тусклым, потусторонним, фиолетовым светом, и Амаль, вскрикнув, отдернула руку и уронила кувшин обратно в песок. Несколько долгих секунд она сидела неподвижно, прижав пораненную ладонь к груди и

тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Ветер выл все громче и пронзительнее, небо стало фиолетово-черным, а звезды — колючими, холодными и непривычно, пугающе яркими. Но любопытство, этот извечный, главный двигатель человеческих судеб, было сильнее. Оно было сильнее страха, сильнее инстинкта самосохранения. Оно вело ее вперед.

Дрожащими, непослушными руками она снова подняла кувшин из песка, чувствуя, как он пульсирует в ее ладонях. Теперь она действовала более осторожно и методично, хотя внутри все клокотало от нетерпения. Она снова и снова скребла, терла, пыталась повернуть или хотя бы немного расшатать свинцовую пломбу. Под ее настойчивыми, сбитыми в кровь пальцами вековая грязь и окислы начали крошиться и отваливаться кусками, словно скорлупа старого яйца. И вдруг она нащупала это — крошечный, почти несуществующий, но такой важный дефект. Едва заметную, микроскопическую, волосяную трещинку, идущую по краю черной печати. Она не была частью узора, не была элементом орнамента, она была дефектом, изъяном, патиной времени, порожденным либо тысячами коррозий, либо — и от этой мысли у нее перехватило дыхание — колоссальным, непрекращающимся давлением изнутри. Для Амаль это была зацепка, та самая соломинка, за которую хватается утопающий. Она вцепилась в печать, пытаясь поддеть ее краем острого камешка, расковырять, расшатать, сорвать. Она работала, не замечая времени, не замечая холода, пробирающегося под одежду, не замечая ветра, швыряющего песок в лицо. Пальцы ее занемели, онемели от ледяного холода металла и были сбиты в кровь в нескольких местах, но она не останавливалась. В ней проснулось яростное, несокрушимое упрямство, граничащее с безумием. Она чувствовала: это не случайность. Ее безмолвная молитва, ее вызов, брошенный пустыне, были услышаны. И вот он, ответ. Запечатанный в меди и свинце, погребенный под тоннами песка. Ключ к свободе. И она его откроет, даже если это будет стоить ей жизни.

Наконец, с мерзким, режущим ухо, пронзительным скрежещущим звуком, который, казалось, проскрежетал по самой тонкой ткани реальности, печать поддалась. Она не отвалилась и не сломалась, но сдвинулась с места буквально на миллиметр, на долю толщины ногтя, прокрутившись вокруг своей оси. Этого микроскопического смещения хватило, чтобы нарушить герметичность сосуда, который был запечатан тысячами, возможно, десятками тысячелетий. Из-под сдвинутой печати, с тихим, змеиным, злобным, торжествующим шипением, начал выходить воздух. Нет, не воздух. Это был густой, маслянистый на вид, осязаемый, почти твердый дым, имевший странный, неестественный, глубокий, космический фиолетово-черный цвет, цвет больной грозовой тучи, цвет гниющего ультрафиолета, цвет абсолютной пустоты. Он был холодным, ледяным, обжигающе-ледяным, от него исходило ощущение не просто стужи, а глубокой, всепоглощающей, космической тоски, бесконечного одиночества и первозданного, нечеловеческого, всепожирающего голода. Дым не рассеивался, как обычный дым, а, напротив, закручивался тугой, ленивой, гипнотической, завораживающей спиралью, обвивая кувшин, ее руки, запястья, поднимаясь вверх по предплечьям. От этого прикосновения, от этой близости, кожу начало нестерпимо, адски жечь холодом, словно она опустила руки в жидкий азот. Амаль в ужасе вскрикнула и отшатнулась, выпустив кувшин из рук. Он глухо, тяжело стукнулся о песок, и из сдвинутой печати дым повалил с утроенной, учетверенной, неудержимой силой, словно вода из прорванной плотины.

Она смотрела, замерев в немом, животном ужасе, как дым, клубясь и перетекая сам через себя, поднимается все выше и выше, заслоня собой бледнеющие, умирающие звезды, заслоня горизонт, заслоня весь видимый мир. Его объем был абсолютно, чудовищно несоизмерим с размерами крошечного кувшина. Казалось, целая вселенная, черная и беззвездная, целая галактика мрака, извергается из этого маленького сосуда. Облако росло, уплотнялось, меняло

свою текстуру, принимая смутные, постоянно меняющиеся, нефиксируемые взглядом очертания. В одной его части Амаль видела подобие огромной, многопалой, когтистой руки, в другой — извивающееся, покрытое присосками щупальце, в третьей — уродливую, рогатую голову с разверстой, бездонной пастью, которая тут же таяла, превращаясь в безглазый, безротый лик, полный такого невыразимого страдания, что он преследовал ее в кошмарах. Все это происходило в абсолютной, гробовой, давящей тишине, нарушаемой лишь истерическим воем усиливающегося ветра, который словно пытался в панике заглушить, развеять, утащить, уничтожить это противоестественное, богопротивное явление. Запахло грозой, озоном, как перед сильной бурей, и еще чем-то древним, тяжелым, приторным, напоминающим мускус, тлен, истлевшие пряности и разрытую могилу. Воздух стал густым и вязким, каждый вдох давался с трудом, был наполнен вкусом меди и ужаса.

Наконец, дым перестал извергаться, истощившись. Огромное, зловещее, живое облако, внутри которого мерцали беззвучные, фиолетовые и багровые зарницы, зависло над барханом, закрыв собой половину небосвода, погрузив все вокруг в глубокую, неестественную, крошечную тьму. Амаль стояла на коленях в песке, вдалеке от того места, куда упал кувшин, не в силах пошевелиться, не в силах закричать, не в силах даже закрыть глаза. Каждая клеточка ее тела, каждый инстинкт, доставшийся от тысяч поколений предков, вопил об опасности, о чудовищной, непоправимой, смертельной ошибке. Это было не доброе, сказочное волшебство из детских грез, не забавный, готовый служить дух из лампы. Это была сила, первозданная, хтоническая, чуждая, абсолютно, фундаментально враждебная всему живому, всему теплоте, всему светлоте, всему существу. Из центра этого живого, пульсирующего, дышащего ужаса, из самой его сердцевины, на нее медленно опустились два огня — глаза, лишённые зрачков, белков, какой-либо структуры. Просто два окна в абсолютную, голодную, ненасытную пустоту, в вечное ничто, полные такой тысячелетней, нечеловеческой ненависти и заточенной, ищущей выхода ярости, что Амаль почувствовала, как краска сходит с ее лица, а волосы под платком становятся хрупкими и, кажется, седыми. Тишина, повисшая над миром, была страшнее самого громкого крика, страшнее грома, страшнее рева чудовища. Это была тишина склепа. И в этой тишине, в самом центре ее разума, не голосом, не звуком, но самой сутью, самой вложенной в сознание, неотменяемой идеей, прозвучало одно слово. Оно не было сказано. Оно было вбито прямо в ее сознание, вытесняя все мысли, всю волю, весь страх. Слово, пропитанное сарказмом, презрением, многовековой скукой и торжеством. Слово-приговор, слово-цепь, слово-судьба. «Желай».

Глава 2. Имя, вытканное из дыма (Знакомство с джинном, договор)

Слово упало в сознание Амаль, словно раскаленный камень в ледяную воду, и от него во все стороны пошли круги — волны чужеродной, давящей воли, которая грозила затопить ее собственное «я», растворить его без остатка в этой бездонной, фиолетово-черной пустоте. «Желай». Это не было приглашением. Это не было предложением. Это была команда, приказ, пропитанный такой безграничной, не терпящей возражений властью и таким ледяным, всепроникающим презрением, что Амаль физически ощутила себя букашкой, раздавленной на камне. Каждая клеточка ее тела кричала о бегстве. Инстинкты, отточенные тысячами эволюции, вопили: беги, прячься, замри, притворись мертвой, сделай что угодно, но не стой на месте перед лицом хищника, который настолько выше тебя в пищевой цепочке, что даже не воспринимает как угрозу, а лишь как забавный, мимолетный курьез. Но бежать было некуда. Ноги, казалось, приросли к песку, налились свинцом. Да и куда бежать от существа, которое заслонило собой полнеба и чья форма, казалось, простирается в измерения, недоступные ее зрению?

Перед ней, колыхаясь и перетекая, точно дым над погребальным костром, возвышался джинн. Теперь, когда первый поток энергии перестал извергаться из кувшина, он начал обретать более стабильную, хотя все еще чудовищную форму. Это не было подобие человека, как в сказках. Скорее, это была иерархия сгустков тьмы, сплетенных в ужасающую, противоестественную пародию на живое существо. Основная его масса клубилась в центре, образуя подобие торса, из которого во все стороны расходились бесчисленные, постоянно меняющие свою длину и толщину отростки, одни из которых напоминали руки, другие — крылья нетопыря, третьи — извивающиеся щупальца или дымные ленты. И над всем этим царила голова. Она была самой стабильной частью его существа. Огромная, угловатая, состоящая, казалось, из застывшего дыма и сгустившейся тьмы. В ней не было ничего человеческого. Пропорции были нарушены: слишком высокие, острые скулы, скошенный, почти отсутствующий подбородок, и рот — без губ, просто тонкая, изогнутая в жестокой, сардонической усмешке щель, которая, казалось, не закрывалась никогда. Но самым страшным, как и прежде, были глаза. Два окна в голодную, ревущую бездну, полную невыразимых мук и ненависти. Они не отражали света, они его поглощали. И сейчас эти глаза были устремлены прямо на нее, сканируя, проникая в самую душу, читая ее страхи, надежды и тайные желания с ленивой брезгливостью гурмана, читающего скучное меню.

— Ну же, — прошелестел голос у нее в голове, и от этого беззвучного шелеста по коже побежали мурашки ледяного ужаса. Голос был многогранен, он состоял из множества слоев: здесь был и низкий, утробный гул, напоминающий скрежет тектонических плит, и свист ветра в пустыне, и тихий, вкрадчивый шепот, полный яда и насмешки. — Я жду. Ты призвала меня, нарушив печать великого Сулеймана, мир ему. Ты напала замок своей кровью. Контракт скреплен. Три желания. Сформулируй их. И освободи меня от этой унижительной обязанности. Давай же, не заставляй вечность ждать. Я слишком долго спал, и моя мигрень от вашего мира может сравниться лишь с моим голодом.

У Амаль перехватило дыхание. Она попыталась заговорить, но из горла вырвался лишь силпый, жалкий хрип. Горло пересохло, язык прилип к небу. Она, та, что дерзнула бросить

вызов самой пустыне, сейчас не могла выдавить из себя ни слова, парализованная ужасом. Перед ней был не слуга из лампы, а древний, беспощадный дух, и она, глупая девочка, выпустила его на свободу. Что она наделала? Бабушкины предупреждения вихрем пронеслись в голове, и каждое слово теперь казалось не сказкой, а сухим, протокольным отчетом о катастрофе. «И горе тому, кто найдет такой сосуд и откроет его без должного знания...»

Джинн, казалось, наслаждался ее ужасом. Щель его рта изогнулась еще сильнее, а в глубине бездонных глаз заплясали искры багрового, злобного веселья. Он слегка пошевелил одним из своих дымных отростков, и по песку вокруг Амаль пробежала рябь, словно от подземного толчка.

— Я чувствую твой страх, маленькая смертная, — прошелестел он. — Это разумно. Глупо было бы не бояться. Ты открыла не просто кувшин, ты открыла врата в мою тюрьму и в свою собственную тоже. Три желания. Три! А затем, согласно древним, нерушимым законам, которые связывают даже меня, я буду свободен. А ты... что ж, ты останешься здесь со своей судьбой и последствиями своих желаний. Итак, приступим. Не бойся ошибиться. Как показывает практика, вы, люди, все равно ошибаетесь. В этом и заключается ваша прелесть.

Эта речь, полная ледяного сарказма и угрозы, произвела на Амаль странный, отрезвляющий эффект. Именно его откровенное презрение, его уверенность в ее ничтожестве, в том, что она непременно совершит глупость, задела в ней ту самую струну, которая заставила ее бросить вызов пустыне. Гордость. Упрямство. Гнев. Она не для того все это затеяла, чтобы стать посмешищем для какого-то высокомерного сгустка дыма, пусть даже и тысячелетнего. Она подняла голову и, преодолевая дрожь в коленях, заставила себя посмотреть прямо в эти жуткие, пустые глаза. Голос ее все еще дрожал, но в нем уже звенел металл вызова.

— У меня есть имя, дух, — сказала она, и слова давались ей с трудом, словно она толкала их против сильного ветра. — Я — Амаль. И я не боюсь тебя. По крайней мере, не настолько, чтобы потерять рассудок.

Глаза джинна на мгновение расширились, и в их бездне мелькнуло нечто похожее на удивление. Слабый, едва заметный проблеск интереса. Он замер, и его дымные отростки перестали колыхаться.

— Амаль, — произнес он, и на этот раз его многоголосый шепот был лишен сарказма. Он как будто пробовал это имя на вкус, взвешивал его. — Надежда. Дерзкое имя для той, чья жизнь протекает в безнадежности. Что ж, Амаль-Надежда, это... любопытно. Никто из моих прежних «хозяев» не смел назвать мне своего имени. Они падали ниц и лепетали свои жалкие желания. Ты забавна. А как же твое желание? Или ты решила ограничиться светской беседой?

Амаль лихорадочно соображала. Вихрь мыслей пронесся в ее голове. Паника отступила, уступив место холодному, расчетливому анализу. Бабушкины сказки учили, что джинны коварны. Они буквально толкуют слова, выискивают лазейки, исполняют желания самым извращенным способом, который принесет просителю максимум страданий. Пожелаешь богатства — окажешься погребен под горой золота, которое рухнет на тебя с неба. Пожелаешь власти — станешь тираном, презираемым собственным народом. Пожелаешь любви — получишь одержимость, которая разрушит твою жизнь. Ей нужно быть умнее. Ей нужно перехитрить того, кто перехитрил тысячи. Но как перехитрить существо, прожившее тысячелетия? Есть

только один способ: быть непредсказуемой, нелогичной. Идти не тем путем, который он считал.

Джинн, видя ее колебания, издал скрежещущий звук, отдаленно напоминающий смех.

— О, я вижу, как работают шестеренки в твоей маленькой, хорошенькой головке. Ты думаешь: «Как бы мне обмануть джинна?» Не трудись. Это невозможно. Но я ценю усилие. Это делает игру интереснее. Даю тебе подсказку, дитя. Я не могу исполнить лишь несколько вещей. Я не могу даровать бессмертие души, ибо души принадлежат не мне. Я не могу воскресить мертвого, ибо то, что ушло в Чертоги Смерти, не подвластно даже Создателю. Я не могу заставить кого-то полюбить тебя истинной любовью, ибо свобода воли — это тот же закон. Все остальное — песок в твоих пальцах. Власть, богатство, красота, разрушение... Все это в моей, так сказать, компетенции. Ну же! Я жажду размяться.

Амаль сделала глубокий вдох. Песок и озон. Запах пустыни и грозы. В голове начало проясняться. Ему нужны желания, которые можно извратить. Значит, первое желание должно быть таким, которое извратить невозможно. Желание, не дающее ему поля для маневра. И ответ пришел сам собой, всплыл из глубины сознания, из тех самых бабушкиных сказок. Знание — сила. И защита. Она подняла руку, останавливая его нетерпеливый шепот.

— У меня есть первое желание, дух, — сказала она твердо.

— Я весь во внимании, — прошелестел он, и его дымная фигура слегка наклонилась вперед.

— Назови мне свое Истинное Имя.

Тишина, наступившая после этих слов, была абсолютной. Даже ветер, казалось, стих в ужасе. Джинн замер. Его дымные конечности перестали двигаться, а бездонные глаза, казалось, расширились, вобрав в себя всю тьму этого мира. Он не двигался так долго, что Амаль успела испугаться, не убила ли она его этой просьбой. Но затем по пустыне прокатился звук, от которого у нее заложило уши. Это был смех. Но не скрежещущий, саркастический смех, которым он смеялся раньше. Это был громоподобный, рокошующий хохот, полный искреннего, дикого, нечеловеческого изумления. Он катился по барханам, отражаясь от скал, и, казалось, от него звезды на небе начали дрожать. Амаль зажала уши ладонями, но смех звучал прямо в ее голове.

— Дитя! — проревел он, когда приступ хохота немного стих. — О, глупое, дерзкое, великопное дитя из праха! Ты хоть понимаешь, что попросила? Ты просишь у меня мою суть, мой скипетр и мои цепи в одном слове! Никто и никогда! Слышишь, никто из вашего жалкого рода не осмеливался просить об этом в первое желание! Вы все просите золото, женщин, троны, смерти ваших врагов! А ты... Амаль-Надежда... ты просишь власти над самим властителем!

Он снова захохотал, но теперь в его смехе слышались новые ноты. К изумлению примешалось что-то, похожее на уважение. Или на его извращенное подобие. Амаль стояла, сжимая кулаки, и ждала. Она знала, что поставила на карту все. Если он откажется, если есть какое-то правило, запрещающее ему это, она проиграла. Но если нет... Бабушка рассказывала, что Истинное Имя дает власть. Полную власть над джинном.

Наконец, его смех стих. Джинн выпрямился во весь свой чудовищный рост, и его глаза загорелись холодным, фиолетовым пламенем.

— Ты имеешь на это право, — сказал он, и в его голосе не было больше смеха. Только холодная, космическая злоба и неохотное признание. — Древний закон, который глупее и старше меня, гласит, что я должен ответить на любой вопрос, заданный как желание, если он не касается трех запретов. Ты спросила. Я отвечу. Но знай, Амаль, дитя надежды: обладать Именем — не значит обладать послушанием. Имя — это ключ к клетке, но в клетке может сидеть тигр, который, оказавшись на свободе, первым делом сожрет своего освободителя. Ты готова услышать звук, от которого твой разум может расколоться, как стекло?

— Готова, — прошептала Амаль, хотя ее сердце стучало так громко, что, казалось, заглушало даже его голос.

— Тогда слушай. Но не ушами. Ты не сможешь произнести его своим жалким человеческим голосом. Оно было рождено в сердце умирающей звезды и выковано в безднах, где нет ни звука, ни света. Я впечатаю его в твою память, и отныне оно будет жить там, как клеймо. Смотри на меня!

Она не могла не подчиниться. Ее взгляд приковался к его глазам, к этим двум безднам. И в этот момент мир исчез. Песка, неба, холода — ничего не осталось. Она висела в абсолютной, космической пустоте, а перед ней разворачивалось нечто, не имеющее описания. Это был не звук, не слово, не образ. Это была череда вибраций, концепций и эмоций, спрессованных в единый, невыносимо сложный иероглиф. Боль и экстаз. Ярость и тоска. Пламя и лед. Одиночество в тысячи лет, заточенное в каждой ноте. Это имя было поэмой о разрушении и песней о вечной несвободе. Оно вливалось в ее разум, выжигая там свое место, вытесняя все остальные мысли.

Она не знала, сколько это длилось. Мгновение или вечность. Когда она пришла в себя, она стояла на коленях в песке, а по ее щекам текли слезы. Не от боли, а от невыразимой, чужой печали, которая была заключена в этом Имени. Джинн стоял над ней, уже не такой огромный, но все еще внушающий ужас. Его глаза потухли, став просто двумя тусклыми углями.

— Ты знаешь мое Имя, Амаль-бен-Халед, — произнес он устало. — Произнеси его, и я буду обязан явиться на твой зов из любого конца мироздания. Но не обольщайся. Я не стану тебе служить, как раб. Я не стану называть тебя госпожой. Но я не смогу причинить тебе вреда, пока Имя у тебя. Это плата за знание. Я впечатлен. Ты не так глупа, как твои предшественники. Возможно, эта игра будет не такой скучной, как я опасался.

Амаль поднялась на ноги, вытирая слезы. Она чувствовала Имя внутри себя. Оно было там, как темный, пульсирующий кристалл, вживленный прямо в мозг. Она не могла бы написать его или произнести, но она знала, что в нужный момент оно само сорвется с ее губ. Это было ее оружие и ее проклятие.

— Мое второе желание... — начала она, чувствуя, как силы возвращаются к ней.

Джинн поднял один из своих дымных отростков, призывая ее к молчанию.

— Прежде чем ты скажешь, позволь мне дать тебе еще один совет, маленькая смертная с храбростью львицы, — он подался вперед. — Ты заслужила его своей дерзостью. Ты хочешь свободы. Ты хочешь увидеть мир. Я читаю это в тебе, как в открытой книге. И ты попросишь меня переместить тебя отсюда. Возможно, в тот город из твоих грез. Но подумай, Амаль. Что ты будешь там делать? Ты — девочка из пустыни, без денег, без документов, без знания законов того мира. Ты знаешь, что в тех городах песок не проблема, а деньги — это вода? Ты там исчезнешь, сгинешь в первый же день. Твоя свобода обернется клетью в сто раз страшнее этой пустыни.

Слова джинна были ядовиты, но в них была правда. Амаль замерла. Она, в своем стремлении вырваться, совсем не подумала об этом. Ее мечты о сияющих городах были наивны. Джинн, видя ее замешательство, тихо, почти по-кошачьи, рассмеялся.

— Я вижу, ты начинаешь понимать. Это хорошо. Это значит, что игра будет долгой. Я предлагаю тебе сделку, Амаль. Не трать свои желания на ерунду. Я чувствую, что ты отличаешься от других. Я заинтересован. Твое второе желание должно быть таким же умным, как первое. Защита. Я не могу уйти, пока ты не загадаешь все три. Таков закон. Но я могу... ждать. И наблюдать. Загадай что-то, что сделает твой путь интересным, а не просто быстрым. Я не даю клятв, нет. Но давай просто скажем так: пока ты развлекаешь меня, я не буду искать способов превратить твои желания в кошмар. Напротив. Возможно, я даже помогу. Советом. Знанием. У меня их накопилось на тысячу ваших жизней. Скука — мое проклятие, дитя. А ты — первое за многие века развлечение. Не лишай меня его быстро.

Амаль смотрела на него во все глаза. Договор с джином? Дружеское соглашение? Этого не было ни в одной сказке. Джинны были либо рабами, либо врагами. Но не союзниками. И все же она чувствовала в его словах странную, извращенную честность. Ему действительно было скучно. И она могла это использовать. Не доверять, нет. Но использовать.

— Чего ты хочешь, джинн? — спросила она прямо.

Он удовлетворенно выдохнул, и облако дыма на мгновение окутало ее, но не обожгло, а лишь коснулось прохладой.

— Историю, — прошептал он. — Настоящую историю. Не жалкий лепет о золоте и мести. Я хочу увидеть, куда приведет тебя твой путь. Я хочу интригу. Я хочу, чтобы ты желала не вещи, а возможности. Сделай свой путь эпичным, Амаль-Надежда. И тогда, клянусь безднами, которые меня породили, я проведу тебя по нему так, как ни один смертный не проходил. И когда ты загадаешь свое третье, последнее желание, и я обрету вечную свободу, у меня хотя бы останется что вспомнить. Согласна?

Амаль стояла под бездонным звездным небом, чувствуя на себе взгляд самой вечности. Перед ней был враг, обманщик, древнее зло. Но он предлагал сделку. И в этой сделке был ее шанс. Ее единственный шанс не просто выжить, но и победить.

— Я подумаю над этим... партнер, — сказала она, впервые за вечер позволив себе легкую, полную адреналина улыбку. — А пока у меня есть второе желание. Знания. Не мудрость, не сила. Просто информация. Я хочу знать правила. Я хочу знать, как устроен этот мир, в который я так стремлюсь. Я не хочу быть слепой. Научи меня ориентироваться в твоём и в моём мире, джинн. Расскажи мне то, что знаешь ты. Без лжи и уловок. Это мое второе желание.

Джинн застыл, переваривая услышанное, а затем его щель-рот растянулась в самой широкой, самой жуткой и самой довольной улыбке, которую только можно было вообразить. Улыбке существа, получившего самый желанный подарок.

— С огромным, просто огромным удовольствием, моя дерзкая госпожа Надежда, — прошепел он, и в его голосе ей почудилось почти человеческое тепло. — Присядь поудобнее, дитя. У нас впереди долгая ночь, и я расскажу тебе, как на самом деле работает Вселенная. И поверь, в твоих книгах об этом не написано.

Глава 3. «Хочу, чтобы меня запомнили» (Формулировка первого желания)

Ночь, опустившаяся на Руб-эль-Хали, была не просто темным временем суток. Она была живым существом, древним и всевластным, которое выползло из-за горизонта, укутывая мир в бархатный, расшитый алмазными звездами плащ. Холод, идущий из самой глубины космоса, стремительно вытеснял дневной жар, и песок, еще час назад обжигавший ступни, теперь ледел сквозь подошвы сандалий. Ветра не было, и в этой кристальной, абсолютной тишине каждый звук — треск остывающего камня, шорох осыпающейся песчинки, собственное дыхание — казался оглушительным, святотатственным. Амаль сидела, скрестив ноги, на своем старом плаще, расстеленном прямо на песке, напротив джинна. Точнее, напротив того, что от него осталось.

Прошли долгие, бесконечные часы с момента их договора. Часы, наполненные знаниями, которые переворачивали ее картину мира с ног на голову. Джинн, которого она теперь знала по Имени — и это Имя жило в ней, пульсируя, словно второе сердце, темное и горячее, — сдержал свое слово. Он говорил, а она слушала. Он не лгал. Он не утаивал. По крайней мере, так ей казалось. Он рассказал ей о мире джинов, о кастовой системе маридов, ифритов, гулей и силат, о древних войнах, бушевавших задолго до появления первого человека. Он рассказал о законах магии, о том, что любое желание, исполняемое их родом, требует эквивалента — энергии, взятой из самого мироздания, и что самые невероятные чудеса часто оставляют после себя самые незаметные, но разрушительные пустоты. Но самое главное, он рассказывал ей о мире людей. О том, как работают деньги, которые он с презрением называл «бумажными фетишами». О том, что в больших городах люди добровольно заточают себя в башни из стекла и бетона и платят за эту привилегию. О политике, о войнах, о социальных иерархиях, которые, по его словам, были лишь бледной и скучной копией иерархии духов. Его лекция была циничной, жестокой, лишенной каких-либо иллюзий, но именно поэтому бесценной. Он показал ей мир без прикрас, сорвал с него романтический флер, которым окутала его книга. И теперь Амаль смотрела в будущее не с восторгом наивной девочки, а с холодным, оценивающим прищуром стратега.

Сам джинн за это время сильно изменился. Чудовищная, закрывавшая полнеба форма исчезла. Он словно адаптировался к реальности, сжался, сконцентрировался. Теперь он выглядел как высокая, колеблющаяся фигура, сотканная из теней и дыма. Черты его были по-прежнему угловаты и чужды, но в них появилась некая стабильность. Он сидел напротив нее, скрестив свои длинные, не совсем материальные ноги, и его бездонные глаза мерцали в темноте, как два тлеющих угля. Он походил на уставшего после долгой дороги путника, который наконец-то нашел интересного собеседника.

— Итак, — нарушил он тишину, и его многогранный голос теперь звучал почти интимно, вкрадчиво, без прежнего грома. — Ты впитала знания, как сухой песок впитывает воду. Ты знаешь правила. Ты знаешь цену. Твое второе желание исполнено, и я чувствую себя странно... опустошенным, но не раздраженным, что удивительно. Теперь, согласно нашему контракту, у тебя есть первое и третье желания. Ты отложила их. Я ждал. И я все еще жду. Чего же ты хочешь, Амаль-Надежда? Какова твоя настоящая цель, ради которой ты бросила вызов судьбе?

Амаль молчала, глядя на звезды. Вопрос джинна эхом отозвался в ее душе. Чего она хочет? Раньше ответ был прост: «Увидеть мир». Но теперь, вооруженная его циничными знаниями, она понимала, что это пустое желание. Увидеть мир можно по-разному. Можно быть туристкой, праздно глазающей на достопримечательности. Можно быть нищенкой, которую этот мир раздавит. Можно быть винтиком в чужой машине. Что из этого она выбирала? Ничего. Ей нужно было нечто иное. Ей нужно было то, что отличало бы ее от миллиардов других людей, проживающих свои тихие, незаметные жизни и умирающих в неизвестности. Ее душа требовала не просто зрелищ. Она требовала значимости.

Она вспомнила Леонору. Почему она так завидовала героине книги? Не потому, что та путешествовала. А потому, что о ее путешествии написали книгу. Ее жизнь была запечатлена в вечности. Ее имя повторяли люди, которые никогда ее не видели. Она оставила след. Ее помнили. А что останется после Амаль? Горстка песка на заброшенной могиле? Дети, которые, может быть, проживут такую же бесцветную жизнь? Нет. Она хотела большего. Она хотела, чтобы ее имя знали. Чтобы ее историю рассказывали, как бабушкины сказки. Чтобы она не исчезла бесследно в желудке времени, переваренная и забытая.

Она перевела взгляд со звезд на джинна и заговорила. Голос ее был тих, но в нем не было и тени колебания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.